

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

В поисках

— Рудик, ты пойдешь?
Руди слышит голос Ариши, и ему кажется, что она прикасается пальцами к его лбу, как тогда. Тогда, в апреле 1942 года, Руди, его тетя, танте Эмма и еще несколько семей немцев-переселенцев прибыли в эту деревню. Семикилометровый путь от станции шли пешком. Впереди ехала подвода со скарбом. Посредине на узлах с вещами сидела на соломенной подстилке женщина с младенцем, лежащим на коленях, несколько маленьких детей, укачавшись, спали вокруг нее. По бокам от них возвышались две темные неподвижные, будто уснувшие с открытыми глазами, старухи.

Переселенцы вслед за подводой добрались, наконец, до центра деревни и остановились посреди сельской площади. У колхозной конторы уже давно стояла кучка сельчан, в основном громкоголосые женщины. Несколько девушек встали в кружок и шептались между собой, непрестанно хохоча. Чуть в стороне от них дымил махоркой, завернутой в газетный обрывок, молодой мужчина в темно-синем гражданском костюме, но в офицерской фуражке, надетой так, что виден был его черный казацкий чуб. Сильную, красивую фигуру подпортила хромота, он оперся на самодельный костылек, глубоко припав на левую ногу. У самого конторского забора двое стариков, похожих друг на друга, в одинаковых фуфайках и зимних овчинных шапках, несмотря на апрель, страстно о чем-то спорили. Один в запале шмякнул шапку на землю, но тут же поднял ее, отряхнул и вернул на разгоряченную свою голову.

Деревенские пришли посмотреть на немцев. Немцы были российскими, высланными из расформированной немецкой республики и направленные на поселение в Сибирь, но здесь, как видно, знали лишь о немцах-фашистах, немцах-врагах, воевать с которыми забрали на фронт считай всех мужчин деревни, и на многих к сорок второму году родные получили похоронки.

Руди с родителями, отец его был военным, жили в Саратове, а потом в городке немецкой республики — Энгельсе на Волге, где спокойно соседствовали друг с другом и немцы, и русские. Он хорошо знал русский язык, как и его танте Эмма, которая работала в Энгельсе учительницей. Остальные переселенцы были из деревень и не понимали по-русски ни слова.

Прибывшие стаскивали с телеги деревянные чемоданы, мешки, тряпичные узлы и аккуратно рядком ставили на сухой взгорок. Плавно сползла с телеги женщина с хворым младенцем, стараясь его не разбудить. Притихших малышей сняли их матери. Два подростка помогли старухам выбраться из телеги. За подводу было уплачено вперед, и как только последний узел сняли, возница, огромный седобородый старик, развернулся, понукнул лошаденку и поехал назад.

Руди не знал этих людей, все они были из разных мест, их соединили уже на станции. Переселенцы выстроились в серую

кривую шеренгу — измученные женщины, в платках по самые брови, в темных одеждах, хныкающие усталые дети, старики с простыми крестьянскими лицами, натруженными руками. Лишь танте Эмма была в бежевом пальто и коричневом фетровом берете, высокой короной окружавшем ее лоб. Они с Руди стояли впереди всех.

В угрюмом недоумении глядели на немцев сельчане, которые стояли теперь напротив них единой толпой. И вдруг девчонка, она стояла впереди всех — Руди ее сразу заметил: большой рот открыт, глаза вытаращены, прямо сейчас лопнут, красный платок, короткое пальтишко, тонкие жердочки ног в галошах — вдруг она подскочила к нему, и Руди увидел перед собой ее взлетевшие ладони. Низкий козырек его картуза приподнялся, и он ощутил прикосновение пальцев на своем лбу, теплых, мягких, любопытно-растерянных.

— Должно быть, у них так знакомятся, Руди, — тихо сказала танте Эмма. — Не возражай.

— Мамка, а ты брехала, что у немцев рога! — крикнула большеротая и резко побежала назад.

— Так я сама в газете видела! — отвечал ей голос. Он доносился из широкого и длинного до пят резинового плаща, в который была упрятана женщина.

— Ариша, рога-то ему еще рано носить!

Молодой мужчина с костыльком быстро, несмотря на хромоту, прошел к большеротой и, поручив «козью ножку» левой руке, правой приобнял ее. Взгляд его густо-коричневых, блестящих, как машинное масло, глаз показался Руди скользким и противным.

— Ты хвост у него, Аришка, проверь. Под гузку загляни!

Деревенские, до этого напряженно молчавшие, захохотали.

— А тебе, Авдей, все бы под гузку, все под гузку! Чего к дитю пристал? Или дел у тебя нету?

Скорой сердитой походкой к толпе подходил мужчина лет пятидесяти пяти, широкий и коротконогий. Руди видел, как он подъехал на бричке и, привязав к столбу лошадь, поспешил к месту событий. Он прикурил от Авдея «козью ножку» и обратился к женщине в резиновом плаще, к ее маленькой обтянутой светлым платком головке, выглядывающей из плаща:

— То, что ты в газете видела, Прасковья, то ж карикатура!

— Василий Абрамыч, почем же мне знать, что это карикатура? — ехидно ответила Прасковья. — Я баба простая. Ты партийный у нас и бригадир. Объяснял бы.

— Хоть и родня ты мне, Паня, а не уважаю я тебя. За глупость, а также за никчемность в хозяйственной деятельности.

— И чем я хозяйка плоха? Как у людей все, так и у меня.

— А не у тебя ли цыплят коршун перетаскал, пока ты сидела на крыльце, как русалка, да мух ловила?

Прасковья вытаращила на него глаза, которые и впрямь у нее были русалочьи, словно бочажная вода, затянута зеленью тины.

— Понес! И с Дону, и с моря! Где ты видел русалок да ишшо чтоб они мух ловили?

Василий Абрамыч махнул рукой, отвернулся от сестры и зло сказал:

— И за что только муж любил да жалел тебя?

Прасковья заплакала.

Василь Абрамыч, красный от досады и на сестру, и на себя за то, что так неосторожно напомнил ей о муже, от которого уже несколько месяцев не было писем с фронта, крикнул толпе:

— Вот чего, чего вы сюда понабежали? Цирк вам тут? Тигров привезли?

— Да уж привезли! — разочарованно ответил чей-то женский голос. — То разве ж немцы?

— А ну по домам! — врезаясь в толпу и вдруг переходя на бас, скомандовал бригадир.

Толпа расслоилась на маленькие группки и люди, гутаря между собой, разными дорогами, кому как было ближе, пошли по домам.

А переселенцы стояли все той же терпеливой шеренгой.

Василий Абрамыч оглядел их, в уме посчитал, сколько у него прибавится работников, и сказал:

— Ну, граждане немцы, домов для вас не припасли. На покой к людям пойдете. У нас хоромы не дорогие. Будете отмечаться в спецкомендатуре. Никаких передвижений, поездок отсюда. Никуда без разрешения нельзя, даже в соседние деревни. Взрослым и подросткам на колхозные работы выходить каждый день. С утра у конторы будьте.

Танте Эмма повернулась к переселенцам. Ее лицо даже после изнурительной недельной дороги выглядело таким же, как всегда: энергичным и приветливым. Она перевела слова Василия Абрамыча. Шеренга разорвалась на отдельные группы и группки. Кто-то предложил оставить одного человека у вещей, а остальным идти искать постой.

— А мы, Рудольф, все сразу унесем! — решила танте Эмма, направляясь к куче со скарбом.

Они шли впереди всех, Рудольф Кох с двумя чемоданами, ременная кожа ручек врезалась в ладони, так что их горячо пощипывало, и его тетя, танте Эмма, вся унизанная узлами, сумками и сумочками.

Руди разглядывал деревенскую улицу. Тут были и бревенчатые дома, и тесовые, и мазанки, многие совсем низкие, так что окошки едва выглядывали из земли. Заборов не было, лишь тройные ряды прясел, набитых на столбики, ограждали дворы. Избы располагались с одной стороны, а на другой шумела и шевелила ветвями березовая роща. Стволы у берез чистые, белые; птичий крик, гомон и веселый праздничный свет исходил от нее, и это придавало уютность округе.

Танте Эмма остановилась у дома, срубленного из толстых бревен, потемневших теперь до черноты, двухскатная крыша была покрыта тесом, высокая завалинка засыпана черной землей, сверху рассыпчатой и пушистой. Небольшие воротца открыты настежь.

— Зайдем, Руди. Кажется, нас приглашают, — направляясь в них, сказала танте Эмма. Она всегда разговаривала так, полужутливо.

Войдя во двор, Руди увидел на чердачной лестнице соседнего дома ту Думмедхен, дебилную девчонку, что искала у него рога. Лестница была сколочена из жердин с круглыми неотесанными поперечинами. Думмедхен сидела на самом верху, ссутулив плечи, подавшись вперед, и с любопытством смотрела на них. Руди снисходительно усмехнулся. «Кукук, — подумал он по-немецки и сразу же перевел: — кукушонок».

Они вошли в сени. Уличный свет, пролившись через открытую дверь, чуть осветил левую стену и стоящую возле нее початую

поленницу березовых дров. Танте Эмма постучала в дверь избы. Никто не ответил, они постояли и вошли в избу.

Руди поставил чемоданы в стороне от двери и тут же увидел на голом некрашенном полу избы малыша, мальчика в длинной фланелевой рубашке. Рядом лежала дерюга, с которой он, очевидно, сполз. На вид малышу было не больше двух лет, большеголовый, истощенный до прозрачности, он произносил невнятные, но радостные звуки, и при этом обеими ручками шарил у себя в голове. Найдя что-то в своих пепельных редких волосенках, он проворно схватил и понес ко рту. Танте Эмма, бросившая узлы, с улыбкой подошла к малышу, наклонилась над ним, надрывно охнула и отняла руку мальчика ото рта. Руди поспешил к ней.

Он понял, кого малыш держал в своих крохотных пальчиках. Пока они ехали в теплушке до Сибири, он хорошо познакомился с этими насекомыми. Руди поймал вошь, ползущую по ладошке мальчика, и придавил ее ногтем.

— Найд! Нельзя их брать ин дер мунд! — сказала танте Эмма учительским тоном, ласково, но твердо.

— Думаешь, он понимает немецкий? — спросил Руди.

Танте Эмма вынула из кармана пальто завернутый в бумагу зачерствелый кусочек хлеба, остаток каравая, взятого неделю назад еще из дома, и подала малышу. Он схватил, затолкал его в рот, по-утиному, мгновенно сглотнул весь целиком и тут же протянул руку, прося еще.

— Кольша-а-а! — раздался протяжный женский голос и скрип избыной двери. Вошла женщина, совсем молодая, лет двадцати пяти, высокая, с красивым, но тревожным и усталым лицом, в небрежно повязанном платке, старой запятнанной мазутом юбке и фуфайке.

— Матка, хе-бб!

Малыш повернулся к ней и протянул руки.

— Ктой-то к нам? — протяжно, устало и равнодушно спросила женщина.

— Мы из переселенцев, — танте Эмма кивнула на свои узлы у двери, — я Эмма, а это Руди. Его мать, моя сестра Мари, умерла три года назад. Теперь я его мутти.

— Слышала про переселенцев. Авдей давеча рассказывал, — она улыбнулась, видимо, вспоминая рассказ Авдея. — А я Ульяна. Женщина, вздохнув, взяла мальчика на руки.

— Хлеба тебе дали? А, Кольша? Хлеба у нас нет, мука давно кончилась. Я ему пшеничку завариваю, лепешки боярышковые, картоха есть. Да у его организм ее не принимает, — просто, как старым знакомым, рассказывала Ульяна. — Устала я сегодня. Зерно перелопатили, перебрали в колхозном амбаре. Вот-вот посевная начнется.

— Так ты Коля? Николай? — карие глаза танте Эммы умильно смотрели на малыша, сидящего на руках у матери. И Кольша безгранично весело заулыбался. — Ульяна, а имеете ли вы керосин? Надо керосином налить... намазать мальчику голову.

— В керосинке есть. В лампе, — ответила Ульяна. — Думаешь, я не мазала? Только не берет их керосин. Мыла нет, вот беда. Баню давно не топила, дрова для избы берегла, весна холодная нынче. Завтра истопим.

— У меня хозяйственного мыла есть кусок, — сказала танте Эмма. — Помоем и... — от волнения она забыла слово «пострижем», и, скрестив два пальца, изобразила стригущие ножницы.

— Да че стоять посреди избы! Садитесь, — Ульяна указала на табуретки у стола. — Или вон на сундук.

Руди сел на сундук, стоявший в правом переднем углу комнаты. Танте Эмма на табурет. Ульяна с Кольшей на руках прошла к лежанке, приткнутой к печи, и села там. Маленькая, уютная и в то же время боевая танте Эмма, видать, понравилась им обоим.

— Оставайтесь. Постоите у меня сколько придется. Мы теперя одни с Кольшей остались. Мужа моего убили еще в прошлом годе. Сеструха приезжает иногда.

Несмотря на усталость, танте Эмма взялась за дело. Она намазала Коле керосином голову, обвязала тряпицей, которую тоже вынула из своего узла. Еще она нашла у себя в узлах и постелила Кольше на пол мягкое красное одеялко. Кольша трогал яркий цвет руками и одобрительно гыкал.

Ульяна подтопила железную печку в горнице, сунув в нее лежавшие на полу перед дверцей тонкие полешки, сварила картошки. Они ели ее с тоненькими пластиками сала, которое осталось у танте

Эммы с дороги. Попив с ними чай с солодкой, Ульяна легла в натопленной горнице вместе с Кольшей. Руди и танте Эмме она отвела другую, дальнюю, комнату, отделенную от горницы перегородкой.

Прасковья Комлева с дочерью своей Аришкой были соседями Ульяны, глубокая утоптанная межа разделяла их дворы.

— Смотри-ка, Ульянка приняла к себе немцев и радуется! — мрачно и язвительно говорила Прасковья, видя в окно, как Ульяна с танте Эммой (так вслед за Руди называли ее все соседи) идут с ведрами и лопатами на огород, а позади Руди несет мешок семенной картошки. — Картошку пошли сажать.

— Мамка, что ж им теперь на улице жить? И Кольше с Рудиком весело. А Тантэма Кольке жилетку из цветной шерсти связала!

Действительно, танте Эмма умудрилась прихватить с собой пряжи, она была искусная и страстная вязальщица. В начале мая после нескольких теплых дней вдруг начались холодные обложные дожди, превратившие земли огородов, полей, дорог в глубокую вязкую грязь. Работы встали, надо было переждать непогоду. Вот тогда танте Эмма решительно вытащила пряжу из узла. Дождь в этот день уступил место снегу. Вялые, отечные хлопья падали на дорогу, смешивались с грязью и сами становились ею. Танте Эмма разложила пряжу на кровать, и пасмурное пространство комнаты сразу просветлело от радуги трех длинных мотков: розового, желтого и зеленого. Ульяна добавила к ним некрашеной белой и серой овечьей шерсти. Перемотанная в клубочки шерсть улеглась в глубокую миску, словно бы обещая, что весна и Пасха будут, и танте Эмма начала вязать. Кольша получил длинную теплую жилетку в разноцветную полоску, которая так ему понравилась, что он не хотел ее снимать даже на ночь.

— И ты туда же, Аришка!

Оторвавшись от окна, Прасковья горько глубоко вздохнула.

— Я как раз за ситом к тете Ульяне бегала, когда Тантэма мотки вытащила. Я зеленый моток держала, пока она в клубок его перематывала. Ну, мамка, ведь сказали же: не те это немцы. Русские они немцы.

— Та же Мотаня, да в другом сарафане. Кровь одна! — беспокойно бегая по избе и нигде не находя себе места, отвечала Прасковья.

Не получая писем от мужа, скупая по нему каждой клеточкой души и тела, снедаемая ненавистью, страдая и никогда не успокаиваясь, она ни на чем толком не могла сосредоточиться. Весь свой гнев обрушивала Прасковья теперь на соседей-переселенцев, особенно на немчика, как она называла Руди.

Иногда Ариша проникалась словами и яростью матери, глядела, спрятавшись за угол бревенчатой стены, как их новый сосед, долговязый мальчишка, у которого она искала рога, немчик, вез вязнущую в песке тачку, полную сухих палок, веток, чурбачков, и представляла как выстреливает ему в спину. Она дала ему кличку Росомаха.

Прячась в охапках соломы на крыше сарая, Аришка смотрела со своего двора, как Руди играл с Кольшей, посадив его на горбушку, с гиканьем возил по двору, а Кольша кричал: «Ну, кояшка!», изображая, что он мчится на коне. Утром незаметно наблюдала, как шел он к реке по воду, разбрасывая длинные ноги, энергично громыхая ведрами. Руди чувствовал этот взгляд, ощущал его даже и тогда, когда Арины на дворе не было видно. Он привык к нему.

Таинственное и счастливое

Ариша шла к речке. Обеими руками держала она впереди себя большой цинковый таз полный посуды: в нем погромыхивали, позвякивали, постукивали большой чугунок, алюминиевый ковшик, несколько мисок, стеклянные стаканы, ложки и черпак, все это надо было перечистить с песком и промыть в воде. Берег речки Кулундинки в этом месте был глинистый, довольно высокий, почти отвесный, деревенские называли его увалом. Солнце августа мягко освещало глину увала, делая его рыжевато-розовым. Весь этот глинистый отвес был словно высверлен круглыми дырами, ячейками ласточкиных гнезд. Внизу кайма реки была пологой, там на мелководье и находилась мостушка, состоявшая из трех соединенных общей поперечиной досок, которая держалась на вбитых в дно кольях. Кулундинка в этом месте текла почти прямо, еще только готовясь к решительному повороту за Девятым омутом.

Подойдя к берегу, Ариша увидела Руди.

Она оставила таз наверху и бесшумно спустилась вниз.

Руди стоял на самом краю мостушки, голый по пояс, лицом к реке, голова опущена, руки в карманах. Два полных ведра, вода в которых золотела бликами, стояли на бережке. Ариша беззвучно подкралась к нему.

— Попался, Росомаха!

Она сильно толкнула Руди в спину. Он почти плашмя упал на воду. Ариша прыгнула на него.

— Щас я тебя закурдаю! — крикнула Аришка, одной рукой крепко держа его шею, а другой сиюсь погрузить лицо и голову в воду.

Руди неожиданным рывком отбросил ее, она перевалилась на спину, взметнувшаяся вода залила ей лицо, но Аришка поднялась и с визгом кинулась к Руди. Он спокойно ждал ее. И когда она почти дотянулась до него, перевернулся через спину, нырнул на глубину и исчез.

Замерев, Ариша зорко глядела на то место, где он нырнул, пытаясь угадать его путь под водой. Но коричневатая, как на бочагах, вода Кулундинки почти сразу сгладилась, стала ровной и непроницаемой. Аришка поплыла к противоположному берегу, доплыв, вернулась назад.

Время шло, а Руди не выныривал. Вот Росомаха!

— Росомаха! Рудик! — заорала она. Грозно-тревожное эхо ее голоса взлетело над глубиной и утонуло в реке. Первоначальный испуг нарастал, становился твердым скользким комом страха. Столько под водой продержаться невозможно. Что-то случилось. Она стала нырять, переплывая с места на места, но в желтоватом подводном полумраке было пусто и безмолвно. Отплыв поближе к мосткам, Ариша встала на мелководье, чтобы отдышаться.

— Речка, верни его, верни его, — умоляюще бормотала она. — Господи, миленький, хороший Бог, помоги! Я буду верить в тебя, я буду любить тебя...

В последней надежде глядя на воду, она решила, что сама утонет, утопится, если Руди утонул. Одновременно ей стало невыносимо страшно находиться в воде. Ариша выскочила на берег и тут где-то сбоку сильно плеснула вода, раздался кашель, и она увидела вынырнувшего Руди. Он подплывал к берегу. Хватаясь за глинистую кайму, вполз на берег, вскочил на ноги и попал в объятия Ариши.

— Живой! Живой!

Руди, загнанный, обессиленный, задыхающийся, прильнул к ней, осязая через мокрое платье всю ее, всхлипывающую и радостную, и так замер. Они оба замерли и так стояли, прислушиваясь, как отступает смертный страх, ежедневная маета жизни и зарождается что-то таинственное и счастливое — в сердце, душе, крови.

— Ты куда пропал? Рудька? — спросила она родным, соединяющим их в одно голосом.

— За корень у того берега зацепился штанами, думал, все, — ответил Руди.

Ариша разомкнула руки, отодвинулась и подняла на него глаза. Она только теперь увидела, что прилипшая к бедру правая брючина Руди была разорвана почти до паха.

— Достанется тебе от Тантэмы!

— Зашью, она и не заметит. Ее Василий Абрамович учетчицей в своей бригаде поставил, она теперь ничего, кроме колонок с цифрами, не видит. До ночи все считает, считает. То по-русски, то по-немецки.

Руди засмеялся.

Аришка легко и радостно ловила ладонями подол платья и усердно его отжимала. В том, что она искупалась в платье, не было ничего необыкновенного. С тех пор как Ариша стала подростком и не могла купаться, как раньше, в одних трусах, она всегда купалась в платье, которое на жарком летнем солнце быстро высыхало.

— Откуда ты так нырять умеешь? — спросила она, отпуская наконец и оглаживая сморщенный ситец подола.

— От Волги. А ты утопить меня хотела?

Руди говорил по-русски немного по-другому, чем говорили здесь, в деревне, слова текли плавно, как должно быть течет его Волга, с сильным нажимом на «о».

— Утопить хотела, — передразнила его Аришка, нарочно окая. — Сильно сдался ты мне!

— Видать, сильно, — глядя на нее улыбающимися глазами, сказал Руди.

Аришка отвернулась от него и пошла к улегшемуся почти горизонтально у самой воды стволу ракиты с подмытыми корнями.

Руди потянулся за ней. Они сели рядом.

— Волга — она правда шибко большая? — спросила Аришка, опуская ноги в речку.

— Километра три, в широком месте. Мы с отцом переплывали, но около нас она поуже.

— А где теперь твой отец?

— В Перми, в трудовой армии.

— На войне, что ли?

— Нет, там нет фронта. Они лес валят. Живут в бараках. Меня тоже могут туда забрать. После шестнадцати.

— А тебе сколько?

— Пятнадцать с половиной.

— А раньше твой отец кем был?

— Военным был. Но он немец. Он не имеет права идти на фронт.

— А от нашего папки писем восемь месяцев уже нет. Мать говорит, может, уже и косточки сгнили, а мы все ждем. Ты не обижайся на нее. Она теперь никого не любит. Понимаешь?

Аришка смотрела на него, так, как, бывало, глядела Ульяна на Кольшу, просившего хлеба и не понимавшего, что нет хлеба, совсем нет.

— Понимаю, — сказал Руди.

Тот день не просто сблизил их, он словно спаял, сплавил, слил их воедино. Работавшие наравне со взрослыми дома и в колхозе Аришка и Руди редко оставались один на один, но и видясь на людях, они делались счастливыми от самой малости, и, встречаясь взглядами, они и словно бы принимали друг к другу. Случайное прикосновение плеча или локтя наполняло обоих тайной радостью, и день делался праздником, как Пасха или Новый год. И, засыпая вечером, каждый из них будто бы протягивал другому руку, и так — с соединенными мысленно ладонями — они засыпали. Как выжил бы он эти бесконечные месяцы сибирской лютой, голодной зимы, в тоске по дому, по родному городку на Волге, по отцу, могучему, никогда не унывающему старшему лейтенанту Кристиану Коху, который, как узнали они с тантэ Эммой, умер в этом декабре на лесоповале в бараке где-то под Соликамском. Как выжил бы он, если бы не эта нечаянная первая любовь, не эта смешная, большеротая, девчонка, кукушонок.

А Прасковья все не могла успокоиться.

Аришка мыла полы в доме, когда услышала, как мать кричит на весь двор Ульяне.

— Трудится немец твой, а, Уля? Как скипидаром пятки смазал, носится.

— Хозяйский парень, работающий, помогает нам с Тантэмой. И бригадир на него не обижается. Все исполняет. Вчерась Василь Абрамыч отправил его древесину из бора привезти. С осени делянку у Кривого озера напилили и остаили. Я ему тулуп Мишин дала. Мороз-то какой, а у него только пальтецо осеннее.

— Тулуп Мишкин? Мужа, которого они убили!

— Да Родька, что ли, его убил?

Ульяна звала Руди по-русски — Родькой.

— На твоей земле хозяином стал, — покачала головой Прасковья и скорбной походкой направилась в избу.

— Вот дурь-то человеческая... — сокрушенно вздохнула Ульяна. — Он виноват, что без дома остался? Без отца, без матери. Пожалела бы сироту.

— А у нас в каждом доме сирота. Они всех мужиков наших поубивали!

Горько Арише было смотреть, как мать становилась все неистовой и все несчастней в своей ненависти. Она жалела ее и все просила Руди не обижаться.

Воздух жизни

— Руди, ты пойдешь? Пойдем на займище? — снова услышал он голос Ариши у себя за спиной.

На Ульянином дворе под навесом сарая Руди чинил мотоцикл. Мотоцикл лежал, а он стоял перед ним на коленях, внимательным цепким взглядом осматривая разобранный двигатель. Части его были разложены на широкой толстой доске, на полу, рядом с мотоциклом.

— Карбюратор... — пробормотал он, — дело в нем, Ариша.

Пахло бензином, налитым в жестяную плошку. Руди промыл в нем некоторые детали. Рубашка почти вылезла из-под ши-

рокого армейского ремня, который ему подарил отец, уходя в трудовую армию. Закрученные брюки в пятнах и пятнышках мазута открывали босые ноги.

Мотоцикл Руди обнаружил в биндежке — так называла Ульяна узкую дощатую постройку рядом с сараем. В Энгельсе у отца был почти такой же, и они, оба страстно любившие технику, вместе чинили его при всякой поломке.

— В сороковом муж купил. С рук, подержанный, год поездил, а он возьми и сломайся. Тут война началась. Так и стоит, — сказала Ульяна, когда Руди спросил, чей это мотоцикл.

— Я почию! — сказал Руди. — Можно?

Ульяна не сильно-то поверила словам Руди, но мотоцикл чинить разрешила. Руди упоенно взялся за дело.

Этот мотоцикл словно возвращал его к прежней жизни, к детству, иногда Руди настолько погружался в ремонт, что забывался и думал, что он в Энгельсе, под крышей своего дома. Всякую свободную минуту, если он не был на колхозной работе и не помогал дома, Руди проводил со своим мотоциклом. Он уже проверил мотор, который был практически исправен, выправил погнутую выхлопную трубу, вычистил сильно заржавевший бак. Еще немного и он наладит мотоцикл!

— Рудик!

Руди встал с колен, вытер руки о штаны и повернулся к Арише. Она стояла перед ним: глаза, рот, щеки — все в улыбке, русые волосы заплетены в красивую «корзиночку».

— Пошли на кочкарник! Наберем яиц утиных, а то и на гусиные нападём!

— Это ты для яичек корзинку сплела?

— Чего-о-о? Я уже неделю «корзиночку» заплетаю.

— Яички-то в нее собирать будем?

— Зачем? — Аришка не поняла его шутки. — Я всегда в подол собираю.

Руди снял с гвоздя висевшую с наружной стены сарая старую корзинку.

— Здесь сохраннее будут. Пошли.

Кочкарник был недалеко, он начинался в конце больших огородов, которые пологими горами спускались за каждым двором вниз.

— Не вздумай камышами шуршать или кашлять. Понял? — шепотом сказала Ариша, когда они, переступая с кочки на кочку, дошли до камышового займища.

Серые гуси и утки-кряквы прилетели сюда еще, когда местами не стаял снег, теперь они уже точно сели на яйца. Ариша раздвинула высокие стебли камыша, старые сухие желто-коричневые, вперемешку с зазеленевшими новыми, и шагнула чуть вглубь.

— Смотри! — шепнула она.

На кочке, заваленной сухим торфом и травой, красиво располагалось овальное гнездо, размером с большую корзину, свитое из камышовых стеблей и листьев и густо прикрытое пухом.

Ариша присела, быстро снимая пух с яиц.

— А знаешь, я однажды видела, как утка у себя из груди пух выдергивает, щиплет и стелет потом гнездо, — тихо сказала она.

Руди тоже склонился над гнездом. Их было шесть. Шесть яиц, размером почти в два раза больше, чем куриные. Четыре яйца было белых и два зеленоватых.

— Бери! — сказала Ариша.

Руди взял два яйца.

— Теплые.

— Наверное, утка только что с гнезда сошла, — прошептала Ариша.

— А эти два какие громадные!

— Двухжелтковые! — пояснила Ариша.

Она выбрала их из гнезда.

— Справная будет яичница! — сказал Руди и с улыбкой поглядел на Аришку. — Ну что, в подол будем складывать?

— Да иди ты!

Они сложили яйца в корзинку.

— А на дне-то сколько пуха! Смотри, Рудик.

— Эта утка, видать, всю себя ощипала, догола.

— Смотри, вон еще гнездо!

В этом гнезде было аж восемь яиц, и Руди предложил два оставить.

— Как же есть хочется! — вздохнула Арина.

— Мне есть хочется всегда, даже когда я сплю, — признался Руди.

— А мне, а мне... даже когда я ем! — сказала Ариша.

И они не удержались, рискуя распугать всех насекомых, рассмеялись.

Шел третий год войны, самый тяжелый и голодный. Голодно было во все месяцы года, но голодно по-разному. Летом можно было набить брюхо ягодами, наловить рыбы и за неимением масла запечь ее насухую, а с августа начинались грибы. Осенью выкапывали картошку. Но весной, когда в доме не оставалось ни муки, ни крупы, ни одной картофелины, кроме оставленной на семена, когда ни в огороде, ни в лесу еще ничего не росло, голод вставал во всем своем жестокосердии, он тянул, больно резал, язвил желудок, доводил до тошноты и головокружения. Голод мучил всех, но более всего подростков. Есть хотелось всегда.

Они взяли все же восемь яиц, два палевых тут же выпили и двинулись по камышовым и земляным островкам дальше.

Ариша, хлябая галошами, шла впереди, Руди — следом. Она то и дело меняла направление, дважды попадали они на сидящих крякв, которые вытягивали шеи, раскрывали клювы и шипели, будто гадюки.

Ариша, осторожно ступая по кочкам, заваленным сухим камышом, двигалась в глубь заводи, где-то там, за полоской камышей, начиналось болото. Руди двинулся за ней.

— Вон оно! — сказала Ариша. Они стояли в нескольких метрах от большущего гнезда, свитого из веток и крепких стеблей, щели его были затыканы пухом. Гнездо со всех сторон окружала красновато-коричневая болотная вода.

Руди с любопытством разглядывал его.

— С колесо мотоцикла будет, — прикинул он.

— Это гусиное! — прошептала Ариша. — Гусыня на прогулке. А гусак где-то рядом, слышишь, гогочет? Сторожит.

Руди кивнул.

— Яйца раза в четыре больше куриных! Граммов по двести будут, — с хищным восторгом продолжала шептать Аришка. — Я их сейчас достану.

Она осторожно забралась на кочку, села на корточки и протянула руки к гнезду. Рук немножко, совсем немножко, не хватало. Она заметила чуть впереди высокий сухой бугорок и перешагнула

с кочки на него. В эту же секунду под ее тяжестью бугорок разлезся, словно был из бумаги, и Ариша провалилась ногами в какую-то странную и глубокую пустоту. Вода накрыла ее сверху, но вода не ощущалась, ее не было внизу! Ариша осторожно шевельнула ногами. Было чувство, будто она в невесомости. «Значит, это не трясина, не трясина», — лихорадочно говорила она себе. Аришка попыталась вынырнуть на поверхность, но уперлась головой в густой, плотно переплетенный слой травы. Она чуть отодвинулась в сторону, и тут что-то толкнуло ее и вынесло вверх. Это был Руди, сразу бросившийся за ней в воду. Она и сама бы вынырнула, раз это была не трясина. С момента, когда Ариша провалилась, прошло не больше минуты. Она даже не успела по-настоящему испугаться и не наглоталась воды. Руди на руках вынес ее из заводи, отнес и уложил на толстую многослойную лежанку из сухого камыша. Дальше начинался невысокий, но растущий длинной стеной ольшаник. Руди склонился над Аришей. Она приоткрыла глаза и увидела его встревоженное лицо.

— Как ты себя чувствуешь? А, Ариша?

— Я себя чувствую. Но плохо, — кокетливо улыбаясь, слабым голосом ответила она. — Сделай мне искусственное дыхание.

— Слова-то какие знаешь!

Руди улыбнулся и поцеловал ее.

Когда он оторвался от ее губ, Ариша с удивлением прошептала:

— Давай еще раз.

Это была первопоцелуйная сладкая тишина, которую вдруг нарушил резкий треск ветки или сука. Ариша распахнула глаза и увидела в ветвях ольшаника какую-то серую фигуру или тень, или ей показалось. Ариша приподнялась, губы их разлучились.

— Кто-то ветками трещал, — сказала она шепотом.

Они вглядывались в ольшаник.

— Никого там нет, — сказал Руди.

— А ты, Рудик, напугался, что я утону? — спросила она его.

— Некогда было пугаться.

— Вот мы с тобой водяные! Ни в реке, ни в болоте не тонем.

Пойду платье выжму. А то не просохнет.

Ариша пошла к ольшанику, тихому и неподвижному, будто и не трещал он оглушительно только что, сняла платье, отжала

его и натянула его, съезживаясь от неприятно щекочущего холода.

— Рудик, теперь ты иди.

Руди махнул рукой. И так высохнет!

Они уселись на толстую оголенную, будто кто обглодал с нее всю шкуру, ольховую корягу, на самый солнцепек.

— Мамка говорит, что ты рыжий, как все фрицы, и долговязый. А мне нравятся твои волосы, — улыбаясь, Арина провела по его волосам. Они были коричневато-рыжие, а на солнце просвечивали, как гречишный мед. — Ненавидит она тебя, — вздохнула Ариша. — Прямо лопается от злости.

— Простить мне не может, что рогов у меня не оказалось, — пошутил Руди.

— Может, отрастишь?

— Без твоей помощи не смогу.

Они засмеялись.

— Мы как будто обручились, — сказала Ариша, прижимаясь к нему.

Жить

— Ты что наделала? — наступала Прасковья на дочь. — С немцем связалась! Отец наш воюет с ними. Да чтоб моя кровь с ихней смешалась?

Ариша хотела пройти в горницу, чтобы переодеть влажное пахнущее болотом платье, но мать преградила ей дорогу, и она осталась стоять посреди прихожей.

— Мама, ничего же не было, — догадываясь о каком смешении крови говорит мать, прошептала Ариша.

— А вот дядька Авдей, он видел вас за ольшаником, он по-другому говорит.

— Врет твой дядька Авдей.

— Да я этого фрица ружьем отцовым, вместе с его Тантэмой! — Прасковья кинулась к висевшему на стене ружью отца. — Немчуру производить! Не хочу! Не хочу! Что я отцу скажу?

— Мама, мамочка, не надо. Я больше никогда с ним не буду встречаться! Даже разговаривать не буду! — крикнула Ариша.

Ей показалось, явственно послышалось, что мать выстрелила, и Руди упал, упал в болото.

Ночью Ариша заболела. Утром ее, в ознобе скрюченную и задышающуюся, Василий Абрамыч вынес на руках из избы и отвез на своей бричке в районную больницу. Главный фельдшер, Иван Матвеевич Диц, сначала предположил, что у нее начинается сыпной тиф, но явных симптомов не появилось, и он понял, что ошибся. Не сразу, но удалось сбить высокую температуру.

— Неясная клиническая картина, — медленно и четко говорил он Прасковье, приехавшей в очередной раз в больницу с попутной подводой. — Температура ушла, а с ней и бред, и судороги, но состояние все равно тяжелое. Никакого воспаления не обнаружено.

Иван Матвеевич фельдшерил у них еще с двадцатых годов, все жители района знали его, да и он помнил многих. Когда-то Иван Матвеевич вытащил, спас от смерти ее брата Васю, нынешнего бригадира Василия Абрамыча.

— Что ж это? Одно у меня, малохольной, дитя... — жалобно вопрошала она.

— Возможно, истощение. Недостаток какого-то важного элемента в организме. Не понятно другое. Непобедимая апатия, — Иван Матвеевич заметил недоумение на лице Прасковьи и пояснил: — Безразличие, нежелание помочь себе выздороветь.

Испуганной походкой Прасковья пошла в палату к дочери.

Руди переживал страшные дни. С ними можно было сравнить лишь те, когда заболела и умерла в больнице его мать. Ариша не поправлялась, а он не имел права покидать деревню без разрешения спецкомендатуры, и танте Эмма умоляла его дожидаться разрешения. Она стояла посреди прихожей, где когда-то впервые увидели они сидящим на полу Кольшу, и быстро растерянно строчила:

— Они тебя расстреляют или зашлют, где Кузьма телят не пас!

— Потому что Макар пас, — насмешливо сказал Руди, он привык таким образом поправлять тетины ошибки, когда она говорила с ним по-русски.

Танте Эмма все чаще переходила на русский язык — ведь и на колхозных работах, и дома постоянно звучала русская речь.

— Ага.

Она улыбнулась и, едва дотянувшись, вдруг нежно погладила плечо Руди. Тетя любила его, заботилась, но никогда не нежничала, и Руди напрягся.

— Я слышала, как Паня кричала, что не хочет смешивать свою кровь с нашей. Я тоже не хочу с ее дурной кровью смешиваться. Отстань ты от этой девочки. Ей всегда придется выбирать между тобой и матерью. Понимаешь?

Его тетя, никогда не сдающийся человек, на этот раз решила отступить.

— Сегодня встретила ее, спрашиваю: «Прасковья, а любовь, какой она национальности?» А она говорит: «Смотря с кем свяжешься. А то можно и негра родить». Я ей прямо сказала, что она погубит свою дочь.

Руди с удивлением посмотрел на лицо танте Эммы. Карие, всегда будто улыбающиеся глаза ее, сверкали беспощадным гневом.

Он направился к двери.

— Руди, — окликнула его танте Эмма, — она ведь донести на тебя может, оклеветать. Что я родителям твоим скажу, если и тебя не сберегу?

Руди оглянулся на пороге.

— Что можно сказать мертвым?

— То же, что и живым! Я всегда с ними разговариваю, — воскликнула танте Эмма.

— Тогда скажи, что у нас все хорошо.

На следующее утро он вышел раным-рано из дома и прошел до районной больницы все двадцать два километра пешком.

Ариша лежала на кровати у окна, к которому склонялся светлокорыми ветвями молодой тополь.

Волосы острижены, лицо обрзанное, бледное до прозрачности. И руки лежат поверх одеяла безвольно и обреченно. Он не сдержался, взял ее ладонь в свою.

— Привет, мальчишка. Я тебе яблоко принес, — и вынул из кармана, и протянул ей крупное красное яблоко.

— Где ты его взял? Я никогда не ела яблок. И даже не видела. Только в книжке на картинке, — медленно и трудно произнесла Ариша.

— Ешь.

Он помог ей приподняться. Она оперлась на дужку кровати и жадно откусила яблоко. Райская сладость мякоти и живительный яблочный сок наполнили ее рот. Арише казалось, что она лежит на том теплом камыше у ольшаника, где они поцеловались с Руди, где она видела над лицом своим лицо Руди, вдыхающее в нее воздух жизни.

— А я прикончил мотоцикл, — сказал Руди.

— Хана ему, что ли? — спросила она, не отрываясь от яблока.

— Наоборот. Готов. Можно ездить. Я уже опробовал вчера. Василь Абрамыч обещал бензину дать. Сказал, буду его возить в поля.

— Водителя себе нашел дядька мой, — улыбнулась Ариша.

В палату заглянула нянечка, Васса Ивановна, очень жалевшая Аришу. Она сильно напоминала ей дочку, которая в семнадцать лет окончила медсестринские курсы и ушла на фронт.

— Как ты, дочка?

Белых халатов на нянечек не хватало, и Васса Ивановна была в больничном, полосатом, но волосы укрывала белая сестринская косынка. В прищуре чалдонских глаз, во всем ее лице пряталось и не могло спрятаться простое бабье любопытство.

— Да у тебя гость?

Она подошла к ним.

— Васса Ивановна, это Рудик, сосед наш, — сказала Ариша.

Няня сокрушенно вздохнула:

— Ну вы парочка, баран да ярочка! Одни сухари. Ты-то, парень, чего такой худой да бледный такой? Нешто сердечная недостаточность?

— Нет, Василиса Ивановна, у меня, скорее, материальная недостаточность, — ответил Руди, — на одно яблоко кое-как денег хватило. А так бы кило принес.

— От такой недостаточности, сынок, никак больница не поможет.

— А яблочко — райское! — тихо сказала Ариша.

Случилось чудо. С того дня, как съела Ариша яблоко, которое принес ей Руди, она стала выздоравливать. Уменьшились и перестали болеть распухшие, не дающие дышать лимфатические сосуды. Стал уходить лихорадочный изнурительный озноб, а с ним — слабость.

Мать выискивала и привозила ей первые листочки щавеля, дикий лук и чеснок, черемшу, распаривала лепешки из боярки и пила чаем с солодкой. Тетка Ульяна посылала по бутылочке молока. Но Ариша знала: это яблоко. Она долеживала последние дни. Врачиха уже не заходила к ней, а Васса Ивановна забегала только поболтать.

— Ну ты посмотри-ка! К смерти тебя гнало, а яблоко смерть победило! Ах ты, кукушонок мой! — И обнимала на радостях Аришу.

Наступил день выписки. Василий Абрамыч, три недели назад доставивший племянницу на своей бригадирской бричке в больницу, теперь должен был забрать ее. Прасковья упростила брата взять ее с собой.

Они выехали утром. Василий Абрамыч был и суетлив, и задумчив одновременно. Началась посевная, только вот сеять кому? С кем работать? Зимой забрали на фронт еще троих, последних мужиков, почти пятидесятилетних, но крепких, здоровых.

Начало этого мая было сильно холодным. Земля еще не прогрелась на глубине, и когда в первый солнечный день пахали плугами, пар поднимался над полем густыми ладанными дымками. И только теперь, к середине месяца, наступило настоящее тепло.

Скоро выехали они за деревню. Воздух был ласковым, летним. Березняк по обеим сторонам дороги срочно покрылся листвой, а земля на полянах — зелеными островками.

Прасковья, вытянув шею, всей спиной устремившись вперед, смотрела на дорогу, так бы и спрыгнула с брички и побежала бегом к Аришке, да быстрее все равно не будет.

— Вася, ну что мы плетемси, как на сивом мерине? — сказала она нетерпеливо.

— Плетемси! — передразнил ее Василий Абрамыч. — Мне еще целый день на Катьке работать.

Хорошую, послушную и крепкую лошадь бригадира звали Катька.

Прасковья ехидно улыбнулась.

— У тебя все Катьки: и лошадь, и жена. На всех ездешь.

— А ну слезай! — скомандовал Василий Абрамыч и остановил лошадь.

Он повернулся к сестре.

— Иди домой, Паня.

Прасковья испугалась. Тина бочажных ее глаз дрогнула и два тонких ручейка потекли, побежали по щекам.

— Братка, я ж не со зла...

— Вот именно со зла, Прасковья. Все у тебя со зла. Как будто только у тебя горе, только тебе тяжело.

— Всё на меня, Вася! Михаил без вести пропал, Аришка чуть не умерла. А все этот сосунок, немчик!

— Эх, Паня! Реденько у тебя, сестра, в голове засеяно. Рудька трудится. Они меня с Сашкой Кротовым, знаешь, как в эту зиму выручили? Да и другие переселенцы хорошо помогают. И за дровами, и за соломой их по морозам гонял. Иль тебя надо было послать?

Прасковья молчала. Ей хотелось скорее ехать дальше, но Василий Абрамыч придерживал вожжи, и лошадь не двигалась.

— Рудька теперь мой посыльный. У него мотоцикл есть, это какая подмога!

Василий Абрамыч придвинулся поближе к сестре. Голос его стал тихим.

— Я, Паня, его на днях у спецкомендатуры отбил. В трудовую армию хотели парня забрать.

— Ну и пусть бы забирали, пусть бы там работал.

— У меня, — Василий Абрамыч постучал себе в грудь, — у меня он будет работать! А что они с Аришкой дружат¹ — они ж дети еще.

— Дети! — Прасковья жалобно глянула на брата. — Вон Авдей сказал, что видел, как они в кустах...

¹ Дружат — в деревнях так называли зародившиеся отношения между юношей и девушкой.

— Авдей... — неуважительно произнес Василий Абрамыч, — а то ты Авдея не знаешь. Ему под каждым кустом одно и тоже блазнится. Он Аришку себе приглядел, а тут какой-то сопляк мешается.

— Авдей? Мою Аришку?

Прасковья чуть не выпрыгнула из брички.

— Ах, он кот масляный, козлиная жеребец...

— Хватит зверинец собирать, — хлестнул вожжами Василий Абрамыч по краю брички. Но увидел поблекшее, все слезное, а еще недавно такое красивое лицо Прасковьи и перешел на ласковость — обнял сестру.

— Утихомирься, Панюша. Жить надо, а не сердиться на жизнь. Утихомирься.

— Ладно, Вася, — пообещала Прасковья, замирая под рукой старшего брата от неожиданной ласки. И только она знала, чего стоило ей это согласие. В хорошем молчании они поехали дальше.

Выписанная Ариша сидела в палате, на кровати, вся готовая, и ждала дядю Василия. Она была теперь здорова. Но душа, раньше ясная, неуязвимая, болела.

Вдруг начался дождь. Внезапный, бодро и дробно стучал он в больничное окно: «Ру-дя... Ру-дя... Ру-дя...» Сквозь перестук дождя Ариша услышала под окном гуденье мотора и негромкий короткий сигнал.

Она вскочила на колени, выглянула в приоткрытое окно и увидела Руди, сидящего на мотоцикле. Он улыбался, махал ей рукой, звал к себе. Ариша, накинув больничный халат, бестелесно пролетела над давно не крашенными половицами палаты в коридор, ноги ее стали воздушными, несли к нему.

— Рудик!

Он сидел на мотоцикле. Спина в стремительном наклоне, крепкие руки на руле.

— Я за тобой. Поехали?

Ариша, не сводя с него глаз, будто боялась, что источник ее спасения и воздух жизни сейчас исчезнет, прыгнула на заднее сиденье.

Руди газанул. Мотоцикл выехал за больничные ворота. Они направились на большак. Руди лихо свистнул, когда они свернули с проселка на твердую, укатанную дорогу, и прибавил скорости.

— Летим! — крикнула Ариша, прижавшись к спине Руди и обхватив его руками. Упругое непослушное пространство расступалось ровно настолько, чтобы в него мог втиснуться мотоцикл.

Они поравнялись с местом, где слева от большака был песчаный карьер. Он сужался и обрывался к центру, зияя прорехой. Здесь был поворот, на котором рыхло светлела осыпь песка, намокшая от сегодняшнего дождя. Руди повернул мотоцикл и увидел выползающий из-за поворота лесовоз. Просигналив, мотоцикл заскрежетал по песку, завизжал так, как визжит поросенок, когда его держат пять пар сильных мужских рук перед тем, как зарезать. Руди тормознул, уперся ногами в землю и выставил вперед руку, словно так хотел защититься от удара лесовоза. Но огромная и, казалось бы, бесчувственная махина с неожиданной ловкостью вильнула в сторону и проехала мимо. Путь был свободен, а мотоцикл, увязая в песке, пошел юзом. Руди выправил его, вытащил из песка и газанул. Белые тяжелые брызги влажного песка разлетелись в стороны. Ариша крепче сомкнула руки.

Бричка Василия Абрамыча в бодрой тряске ехала по дороге. Василий Абрамыч пребывал в благостном молчании и обдумывал посевную. Прасковья мечтала о том, как дружно и тепло заживет она с дочерью. Доносящийся гул и рев мотора отвлек их. Они устали на дорогу и увидели поджарую, рогатую, то и дело взлетающую над землей фигурку мотоцикла. Он быстро приближался.

— Мы думали свежи, а тут все те же, — сказал Василий Абрамыч, останавливая бричку. — Рудька Арину из больницы забрал.

— Забрал! Куда? — вскрикнула Прасковья, вскакивая с места.

— Да домой. Тебе везет. Поворачиваем оглобли.

Руди увидел бричку Василия Абрамыча, но тормозить не стал.

— Мамка, я дом-о-й! — крикнула Аришка, когда они поравнялись.

Руди, что есть мочи надавил на сигнал, веселый гудок огласил даль, и они помчались дальше. Скорость веселила, вынимала из сердца тревогу.

Они продолжали полет.

ДУСИК

Дусик ехала на новом велосипеде. Он был зелено-перламутрового окраса, большой и сильный, как лось. К правому рулю был прикреплен блестящий никелированный звонок. И у него, как у взрослого велосипеда, накачивались колеса. Дусик спешила на конский луг, где любила поваляться на траве среди пасущихся стреноженных коней, которых всех знала по именам: Лыска, Звездочка, Гром, Чалый, Астра. Ну и они тоже знали ее в лицо и по имени.

Велосипед шел по деревенской улице быстро и упруго, лишь около дома Анисьи Петровой, где был глубокий, по щиколотку, песок, Дусик слезла и повела его рядом с лужайкой, у которой бродили пристальные куры, а в сторонке от них вяло и не заинтересованно — чернявый петух. Глубокое око его в желтом ободке смотрело на мир кротко и печально.

— Петя, Петя, ну как ты? — Дусик улыбнулась петуху улыбкой доброго доктора. — До чего ж ты черный! Ну Анчутка и Анчутка!

Чуть подрагивая бородкой, петух уважительно и смиренно посмотрел на Дусика.

Дусиком ее прозвал отец, Иван Бастрыкин, сократив настоящее имя Лидуся. В его жизни было две главные радости: Дусик и темно-красный мотоцикл ИЖ-49. Фигура Ивана становилась уверенной, руки — твердыми, а лицо — зорким и жестким, когда он взлетал над солончаковым бугром и исчезал в пыли и дыму выхлопной трубы.

Лидуся родилась на мотоцикле. Папка ей вот что рассказывал. Когда она выйти на свет Божий собралась, он повез роженицу в райгород, в роддом, но не довез, по дороге, под самым райгородом, Лидусик возьми и родись.

— Так что ты у нас Лидия Мотоцикловна. Это однозначно, — говорил ей отец, вспоминая тот заполошено-счастливый день. Лидуся не соглашалась:

— Не Мотоцикловна я! Я Дусик Ивановна!

Старая акушерка Ирина Ермолаевна, которая отделила Лидусю от мамки — перерезала похожую на стебель водяной лилии

пуповину и завязала пупок, вышла и объявила ожидавшему отцу, что Лидуся родилась срочными родами. «Не то как ты, Иван, двенадцать часов мать мучил. Если твоя дочь так и по жизни будет все делать, многое успеет», — решила Ирина Ермолаевна.

Так, в общем, и вышло. Дусик много успевала, но случались издержки. Зимой, к примеру, она выдавила стекло, сидя на подоконнике у соседей Шуртаковых. Лидуся, как всегда, была в гостях у младшей их, пятой, дочки Вальки. Тетя Шура пообещала, что вставит теперь вместо стекла на всю зиму жопу Лидусика, потому что стекло ей взять негде. И какой храброй ни была Лидусик, это обещание ужаснуло ее. Все, что говорили ей взрослые, она воспринимала как чистейшую правду и поэтому стояла у окна Шуртаковых не шелохнувшись и ждала исполнения тети Шуриного приговора. И только когда тетя Шура крикнула: «Чтоб глаза мои тебя здесь не видели!», — Лидуся кинулась бежать домой.

С годовалого возраста отец возил ее впереди, на баке мотоцикла, пристегнув к себе ремешком. А когда Лидуся подросла, перешла на заднее сиденье. Высоко сидела она в седле «ижа». От ветра взлетали, сливались в нимб светлые хохолки волос, вздымалась юбочка-шестиклинка, и сама она словно бы взлетала над мотоциклом. Когда они с отцом ехали по деревне, Лидуся то и дело отпускала круглую ручку сиденья, одним глазком поглядывала на старух, сидящих на лавочках или завалинках. Они не одобряли. Анисья Петрова даже грозила пальцем, а Дусик, крылато расправив руки в стороны и высунув язык, пролетала мимо них.

Не было для нее слаще звука, чем родное бархатное гуденье мотора ИЖа-49, и сам он такой баской, темно-красный, с большой блестящей фарой впереди, а на конце трубы — будто рыбий хвост, от отца Лидуся знала, что это концовка глушителя.

В это лето весь июль они с отцом возили по утрам на мотоцикле мамку Светлану на свекольное поле. В колхозе сажали уйму сахарной свеклы. По осени сдавали урожай государству, а свекловоды получали за труды сахаром. Мамку Светлану в этом году поставили бригадиром свекольной бригады. Она красиво повязывала голову синим под цвет глаз платком, надевала кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть, и длинную, с оборками, как у царевны (так казалось Дусику), юбку.

Когда они подъезжали к свекле, мать величаво сходила с сиденья и направлялась к полю, зеленеющему низкими густыми листочками всходов.

— Ты, Дусик, знаешь, что мамка твоя теперь не Светлана, а Свеклана Ивановна? — подмигивая Лидусе, сказал отец, когда они в первый раз собрались ехать на свеклу.

— Свеклана! — обрадовалась Лидуся. — Мамке подходит!

Но мать, привстав на цыпочки и дернув отца за пышный русский чуб, пригрозила:

— Вот вы у меня посмеетесь осенью. Получу сахар и вам ни ложечки не дам!

— Как я без моего сахара... — горестно прижалась к отцу Дусик. Она вспомнила, как прошлой осенью выкопанная из земли свекла лежала горой на краю поля, и Лидусе казалось, что ее лилово-красные тушки искрятся сахарными кристалликами. Чуть позже отец привез домой целый мешок сахара. Лидуся макала белый хлеб в воду, а затем — в горку сахарного песка, насыпанного на стол, то-то было сладко!

— Не горюй, дочка! На муку у матери сахар менять будем! Я после уборки мешков пять пшеницы получу. Это однозначно.

Все дни, кроме воскресенья, возили они мать на свеклу. Отец, подъезжая к краю поля, тормозил, мать шла с мотыгой на поле, не дожидаясь даже пока соберется ее бригада, начинала работать, а Лидуся с отцом ехали к знакомой поляне, где густо росла дикая полевая клубника. Дусик ложилась на живот и, припадая к темно-красным сосочкам ягод, медленно ползла по полянке, похожая на светло-зеленую гусеницу в своем летнем платье. Отец набирал большой букет клубники, и, когда они ехали назад, останавливался у края свекольного поля, по которому сосредоточенно тяпали, гребли землю мотыгами женщины, и клал букет под березой, на сумку с «собоечкой», полевым обедом бригадира Свекланы Ивановны.

Однажды, подъезжая к полю, увидели они с отцом удивительную картину. Женщины, рассыпавшись по полю, тяпали траву мотыгами, наклоняясь, тянули из земли корешки порея, цепкие петли повилики, лебеду и отбрасывали в сторону. А у кромки поля стоял вышедший из кустов старый лось. Отец заглушил мотор. Они с Дусиком тихо сидели на мотоцикле. Огромный зверь

стоял неподвижно и смотрел на работающих женщин.

— Папка, он их не забодает? — встревожилась Дусик.

— Не забодает, — ответил отец. — Наши бабы сами кого хочешь забодают. Попробуй-ка он к твоей мамке подойти! Посмотрит на них сохатый-рогатый и уйдет.

И действительно, лось вдруг оглянулся в сторону скошенного лога и направился туда. Спустившись, он вытянул голову и сладко уткнулся в стог сена. Весело Лидусе было ездить на свекольное поле, но теперь прополка на время закончилась.

В колхозе отец Лидуси работал трактористом. Зная, что он сегодня уедет в поле на весь день, Лидуся проснулась рано, чтобы папка успел подбросить ее несколько раз до потолка в их новой горнице. Потом она проводила его, улетающего быстрее выхлопного дыма на мотоцикле, и перелезла через прясла, что отделяли их двор от Шуртаковых.

— Валька!

Валька выскочила на зов. Держа во рту кончик собственной косички, она, сопя забитым носом, сообщила важную информацию:

— А у Анисьи на огороде паслен поспел.

— Айда! — согласилась Лидуся.

Они обошли Анисьину избу и вышли с задов на ее огород. Паслен рос широкими кустами по бокам огорода и много было спелого! Дусик и Валька присели и взялись горстями рвать его, пальцы и рты их стали чернильно-фиолетовыми, на щеки кучками налипли семена ягод. Они одновременно заметили высокий пасленовый куст прямо среди картошки и двинули туда. Дусик шла первой, утопая в черном пуху чернозема. Вдруг она увидела в картошке черного Анисьиного петуха. Он лежал, завалившись на черное крыло, и мутно глядел в никуда. Петушиная лапка — три когтистых пальца, сложенных в кукиш, торчала, казалось, прямо из петушиной груди.

— Ты что это, чернявый? — спросила Лидуся, наклонившись над ним.

— У него зоб забился. Вишь на шее бугор, ровно он шарик проглотил, — привычно пожевывая косичку, сказала Валька. — Задохнется и подохнет. Наш петух тоже так хворал.

— Валька, надо ему операцию сделать!

Лидуся пошарила в земле и нашла хорошее острое стеклышко.
— Держи больного!

Валька придавила петуха своими цепкими руками к земле. Лидуся присела на корточки и нацелилась. Петух не шевельнулся, лишь зрачок его глаза дрогнул и сверкнул, словно сфотографировал Лидусю. Она быстро полоснула острием стекла петушиное горло. Желтоватая водица излилась из надреза, зоб, словно выдоенный, обмяк и чуть завалился на бок. Петя открыл глаза и шумно задышал.

Анисья как раз шла с тяпкой на огород. При всей обширности своей фигуры она была легкой, почти воздушной в движениях. Лидусик и Валька даже глаза зажмурили, когда баба Анисья, с воплем откинув тяпку, летела над картофелем к месту, где лежала прооперированная птица. Анисья пала на колени и склонилась над тяжело и прерывисто дышавшей птицей.

— Петя, ты что?

— Зоб у него забился, Анисья, — пояснила Лидуся. — Я прооперировала.

— Зарезали моего Петю... — неожиданно тоненько и жалобно простонала Анисья.

Она бережно взяла Петю на руки.

— Щас, Петя, я тебе марганцовочкой промою, прочищу, рану перевяжу, заживет твое горлышко, — засюсюкала Анисья с петухом, как с годовалым дитем. — А эти жулики все тут, — оторвавшись от Пети, она так взглянула на Лидусика с Валькой, что они сиганули с огорода каждый к своей избе.

Лидуся прибежала домой в грустном раздумье: почему Анисья не похвалила ее за спасение петуха, а чуть не дала по загривку? Долго потихоньку играла она со своей куклой по имени Вовка — березовой чурочкой, завернутой в пеленку.

Шел пятый час, когда она вывела из сенок притуленный к стенке велосипед, старый и маловатый ей в коленках. Лидуся считала его своим мотоциклом, ИЖом-49. Она спешно вывела его во двор, где мамка развешивала выполосканное на речке белье. На прогнувшейся дугой веревке висели подсиненные простыни, и одна из них мокро шлепнула Дусика по лицу, когда она проезжала под ней. Под крышей двора, на доске, переброшенной

к сеновалу, лежала во всю свою пушистую ширину кошка Луша.

— Луш, поехали со мной, мне скучно, — позвала ее Дусик. Но осторожная Луша сделала вид, что крепко спит. — Ну и лежи тут. А я на «мотоцикле» поеду.

Лидуся с грохотом перебросила «мотоцикл» из калитки на улицу. Курицы, расслабленно бродившие на солнцепеке, так и прыснули во все стороны. Вечер, но все еще жарко. Лидуся глубоко вдохнула уличный воздух. Пахло сосной от нового деревянного штакетника, прогретым навозом, сухой дорожной пылью. У забора подсыхало месиво: глина, смешанная с водой и соломой, — недавно они с мамкой обмазывали сарай. Лидуся поставила свой «мотоцикл» и деловито оглядела его.

Отцовский мотоцикл редко заводился сразу, а если заводился, то тут же глох. У отца на этот случай были специальные слова, ого-го какие! Они казались Лидусе раскатистыми, как гром, и сверкающими, как молния. Без них мотоцикл никогда бы не сдвинулся с места. Стоило отцу выйти из себя, яростно плюнуть, а потом громыхнуть этими словами, как «иж» начинал потихоньку урчать, затем урчание переходило в ворчанье и сразу после того во внезапный оглушительный рев. С этим ревом, отрываясь от земли, мотоцикл улетал вместе с отцом дальше и дальше, пока не скрывался за поворотом.

Лидуся вставила воображаемый ключ зажигания в гнездо, ударила по педали. «Мотоцикл» немного погудел Лидусиным голосом, потом закашлял, засопел и заглох.

— Шучий потрох, опять глохнешь? — выпятив грудь и широко расставив крепкие толкушки ног, прикрикнула Лидуся. Ей шел шестой год, она выговаривала уже все буквы, даже «р» получалась решительной и четкой, не давалась только «с». Лидуся с легкостью заменяла «с» на три разных звука: «ф», «х» и «ш» — смотря какой больше подходил.

Она снова ударила по педали. «Мотоцикл» не заводился. Она сдвинула белесые, прозрачные на солнце, ворсинки бровей:

— Блядфкий род!

Яростно сплюнув, ударила педаль шибче и выругала «мотоцикл» другим специальным словом, потом еще раз, да покрепче. Мотоцикл загудел. Ровно, бархатно...

Лидуся села, расправила плечи, крепко ухватила руль и услышала над собой голос матери:

— Как ты ругаешься? А, Лида? Повтори! Нет. Не повторяй!

Лидуся повернула голову и увидела мать, держащую в руке мокрое полотенце, которое она не успела повесить.

— Такие слова и мужикам нельзя, а ты дитя!

Мать шлепнула ее полотенцем по затылку.

Лидуся поняла, что речь идет о специальных словах. Она загнула мотор. Глаза ее, в сердито растопыренных светлых ресницах, глядели на мать с недоумением.

— А ну-ка! — мать схватила ее за руку и повела во двор. — Лида! Нельзя материться! Это же срамные слова!

— Мамка! Ну ты бештолкавая! Нельзя нам без них с папкой. Мотоцикл не заведется.

— У тебя не мотоцикл, а велосипед!

— Мотоцикл. Иж-шорок девять!

— Матерные слова, Дусик, черти любят! — миролюбиво сказала мать. — Анчутка-то рогатый вот обрадуется! Скажет: «Мой теперь Дусик, себе заберу».

Лидуся испугалась. Она ни с кем, кроме матери с отцом, жить не умела. Даже у бабушки с дедом ей было неуютно. А тут...

— Мамка, а он страшный? — спросила она, прижимаясь к материному животу.

— Анчутка-то? Си-и-ильно страшный! Не то птица он, Дусик, не то зверь. Сам черный-пречерный, как сажа, лапы голые, с иглами острыми, как у боярышника, а клюв гнутый, как серп железный, какой у нас в сарае лежит.

Лидуся отступила от матери и, прижав руки к груди, с раскрытым ртом смотрела на нее.

— Ты больше не говори слов-то таких. А то заклюет он тебя и утащит.

Лидуся вздохнула задумчиво и печально.

— Нужны нам флова эти, мамка, нужны-ы-ы.

— Да что ж это! Да я вас, я вас с отцом! Вот вам Боженька языки иголкой наколет! Охальники! Из дома у меня пойдете.

Теряя терпение, мать своей сильной твердой ладонью шлепнула Лидусю.

— А ну шагай в избу в угол.

Они зашли в полутемную избу, стекла на окнах были укрыты старыми пожелтевшими от солнца газетами. Мать подтолкнула Дусика в левый от двери угол, где висел на гвозде длинный чернеющий лохматой изнанкой тулуп.

— Будешь стоять, мне тебя караулить некогда. И не смей выходить из угла, пока не вернусь.

Наступали сумерки, в избе темнело и становилось страшно. Лидуся, стоя в углу, смотрела в тулуп. Ей казалось, что черные клоки шерсти на изнанке шевелятся, как живые. «А вдруг это Анчутка пришел? Черный да лохматый!» Заревев, она выскочила из угла, и тут стукнула сеношная дверь, да совсем не так, как стучит, когда входит мать. Это шел отец!

— Папка, папка! — крикнула Лидуся, заведев отца в двери.

Иван, пыльный, чумазый, широко расставив руки, принял Лидусю и поднял в воздух. От его одежды вкусно пахло мазутом, полем и хлебом.

— Ты чего это, Дусик? Ревешь, что ли?

— Ой, папка! Мамка на наф ругается! Меня в угол поштавила... — всхлипывала Лидуся. — А я Анчутку увидела, испугалась!

— Вот оно как! Никого не бойся. Дочь Ивана Бастрыкина какого-то Анчутку испугалась! Пусть он тебя боится.

Отец сел на табуретку, взял дочку на колени.

— Говорит, она нам покажет, как матерные флова говорить, когда мотоцикл заводим. Она нас из дому выгонит! А Боженька, — тут Лидуся снова всхлипнула, — нам языки иголкой накалет!

— Вижу, вы тут время не теряли, пока я на жатве был.

— Я ведь петуху операцию сделала, папка.

— Да ты что?

— Зоб ему распорола, а то б помер.

— Ну дак молодец, дочь!

Отец был таким же веселым и спокойным, как всегда, и Лидуся около него тоже стала успокаиваться.

— У нас теперь, Лидуша, новый мотоцикл будет. Такой сходу заведется.

— Без шлов этих, что мамке не нравятся? — воскликнула Лидуся.

— Вообще без всяких разговоров. Это однозначно! — Все лицо: глаза, щеки, даже чуть задранный вверх нос отца, все довольно и мечтательно улыбалось. — А тебе новый велик куплю!

Дусик лукаво прищурилась:

— Шпашли мы с тобой языки-то, а, папка?

— Спасли. И в доме, глядишь, останемся. А слова эти...

— Да на кой они нам, — махнула рукой Лидуся, — при новом-то мотоцикле.

Она прижалась к отцу.

— Ложись-ка ты спать, Дусик.

Иван уложил дочку в горнице, пристроенной в прошлом году. Здесь стояла Лидусина новая кровать, дуга ее была украшена с боков никелированными шишечками. Впереди, меж окон, помещался большой коричневый комод с фигурными ручками под кружевным покрывцом, на котором стояло маленькое круглое зеркальце на подставке и два пластмассовых лебедя — для красоты.

Уставшая от тревог дня Лидуся тут же уснула.

Иван умылся, быстро перекусил и уже собрался идти во двор, когда услышал шаги жены. Она вошла в избу с большим ведром вечернего надоя, укрытым марлей, белой и воздушной, как молочная пена. Умная, «работящая», как шутил Иван, корова Бастрыкиных, в лучшую луговую пору давала по десять литров молока.

— Пришел? А где же Дусик?

— Уложил я ее. Пошли на крыльце посидим.

Светлана поставила ведро на лавку под открытой створкой окна и они вышли.

— Свежо как! Принеси чем-нибудь накрыться, — садясь на ступеньку, попросила жена.

Иван зашел в избу и вернулся со стеганым ватным одеялом.

Он накрыл жену, а другой конец накинул на себя.

— Теперь не замерзнешь.

Сумерки быстро сгущались и переходили в ночь. Светлые северные звезды всходили одна за одной и звездный ковш повис напротив них, чуть повыше ограды.

— Иван, не ругался бы ты... — сразу перешла Светлана к разговору.

— Слышала бы ты, как Дусик мне рассказывала, — нежно усмехнулся Иван. — «Наф мамка из дому выгонит...»

— До чего девчонка стала настырная! Я ей говорю: «Нельзя такие слова говорить», а она: «Не можем мы без этих флов, техника не заведется».

— Она же ребенок, Света. Ну не будем мы...

Глянув на суровое и сильно расстроенное лицо жены, Иван сокрушенно вздохнул и пообещал:

— Не буду. Отвыкну, — и с нажимом добавил: — Это однозначно.

— Ты пойми, Ваня, грешно материться. Знаешь, как бабушка моя сердилась, если слышала такое. Говорила: «Матерщина — хула на Пресвятую Богородицу». И песню старинную нам пела, я ее и сейчас помню.

Светлана неожиданно тоненько, на высокой-высокой ноте пропела:

Вы, народ Божий, православный,
Вы по-матерному не бранитесь, —
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру землю осквернили...

Иван слушал не столько слова, сколько голос жены.

По жизни всем довольный, он более всего был доволен, что досталась ему в жены Светлана. Красивая, но не вертушка, а серьезная толковая женщина, строгая, но и ласковая в любви своей к нему.

— Я денег подзаработал, Светланка. Мотоцикл куплю.

— Правда?

— Бригадира-свекловода на новом мотоцикле буду возить, — хвастливо и одновременно шутливо сказал Иван.

Светлана прилегла к Ивану на плечо. Ей было тепло и спокойно около мужа. Одеяло заключило их в одно мягкое теплое нутро. И не хотелось выходить из него. Наконец, Иван прошептал:

— Пошли?

Они одновременно поднялись со ступеньки и пошли в горницу. Умятая солома матраца мягко прошуршала, когда они легли в кровать. Головы утонули в новых пуховых подушках, недавно справленных Ивановой матерью. Одеядло, еще теплое от их тел, вновь укрыло и соединило их.

— Ай, ай заключен в рай, — прошептал Иван.

— Анчутка... черный... — донеслось лепетанье Лидуси.

— Шибко напугала я ее Анчуткой, — огорченно вздохнула Светлана, — не надо было.

— Ниче, забудет. Я ей велик новый куплю. Про все забудет.

Иван обнял жену. Тикал будильник. Слышалось успокоенное дыхание и сладкое почмокивание Дусика. Сиротливый лунный свет жадно пробивался через тюлевые шторы, прикивал к стеганому ватному одеядлу, торопясь напитаться любовью и согласием, которое он нечаянно здесь обнаружил и которого так мало в мире.

2

А петух бабушки Анисьи, восстановившись после операции, вновь обрел свою мужскую воинственность, но несколько помятенную. Петя, как маньяк, целыми днями выжидающе стоял или ходил нервными шагами вдоль забора, хищным и мстительным оком поглядывал на улицу, поджидая свою жертву — маленькую девочку с белыми пуховыми хохолками вокруг головы, коричневыми фасолинками глаз, пухлыми красными щеками, которые Петя видел над собой, когда она чиркнула ему по горлу.

Лидуся не знала о послеоперационных последствиях в организме Пети. Она выехала утром на своем «мотоцикле». Сегодня отец работал комбайнером на ближнем поле, сразу за деревней, и Лидуся отправилась к нему.

Доехав благополучно до Анисьиной избы, она остановилась, так как «мотоцикл» застрял колесами, пошел юзом в песке и заглох. Лидуся слезла, взяла его за рога и стала выводить из песка. Внезапно кто-то злобно клацкнул над ней и тяжелый, жаркий, бухнулся ей на спину. Раздался хищный клекот и оглушительное

«хлоп-хлоп-хлоп!»! В ушах у Лидуси что-то треснуло, забилося и лопнуло. Два голых горячих крюка впились ей в шею, а третий жестко, больно и страшно тюкал в затылок. Она кинула «мотоцикл», развернулась и с визгом понеслась к дому, силясь убежать от того, кто был у нее на спине. Она орала на всю улицу, но не было вокруг никого. Безответно смотрели на Дусика желтые глаза избяных окон, залепленных на лето старыми газетами. Скосив глаза влево, Лидуся увидела у виска острое крыла, блестящие злой чернотой перья и в страхе зажмурилась.

— Это же Анчутка! — поняла она. — А я и не ругалась сегодня.

Несправедливость Анчутки разъярила ее.

— Шучий потрох!

Она рванула плечо, воздела руку со сжатым кулаком и всей мощью обрушила его на Анчутку, попав во вздыбленное перистое тело.

— Не видать тебе меня, вражина! — крикнула она.

Анчуткины когти, слабо царапнув, отпустили ее шею, и Анчутка мягко соскользнул Дусику на спину. Из самой глубины Анчуткиного горла вырвалось жалкое кудахтанье, хлопнули напоследок крылья, и Лидусина спина стала легкой и свободной!

Блаженствовала расцарапанная шея, отдыхал поклеваный затылок. Пробежав чуток, Дусик приостановилась и перешла на торжественный победный шаг. Лицо ее горело и алело, как кумач победного знамени. И, не поворачиваясь, она крикнула:

— Анчутка, шучий потрох! Никогда меня не одолеешь! Никогда! Это однозначно.